

Величие и падение Покровского (эпизод из истории науки в СССР)

I

Возможен ли социализм в такой стране, как Россия? Под «такой» страной разумеалась при этом отсталая земледельческая Россия, не прошедшая через горнило «капитализма» и доступная, по степени своей социально-политической эволюции, самое большее, для какой-нибудь «буржуазной революции» с соответственной «республикой» в результате. Этот вопрос задавали себе деятели коммунистического переворота накануне 25 октября. Некоторые из них, как Каменев¹ и Зиновьев², отвечали на него отрицательно: нет, социализм в России невозможен. Люди, так думавшие, теперь расстреляны; но вопрос о том, введен ли в России социализм в результате революции, остается и до сих пор спорным, несмотря на строгий приказ Сталина, раз навсегда решившего: социализм в России введен, и больше об этом говорить не нужно. Это — в порядке практическом.

А в порядке теоретическом, где все-таки приходилось несколько церемониться с логикой фактов, щекотливый вопрос, тревоживший совесть Каменева, давно был заменен другим, менее откровенным: возможно ли ввести социализм в России хотя бы после того, как его введут у себя более прогрессивные страны, поощренные к этому русской революцией? Так ставил вопрос давно уже Троцкий³ (1905): на необходимости этой отсрочки была основана его теория «перманентной революции». Но после того, как отсрочка, принятая и Лениным — для введения социализма в других странах, затянулась до бесконечности, а русская революция была все-таки произведена, так сказать, в кредит, возник снова вопрос о том, каков же смысл этой революции.

У Маркса на этот раз нельзя было искать ответа; приходилось рубить с плеча. И Сталин, уже совсем не считаясь ни с фактами, ни с официальной доктриной, просто-напросто декретировал: возможно, значит, и введение социализма в одной стране (т.е., не дожидаясь других). Формула стыдливо умалчивала, что этой «одной» страной была все-таки отсталая Россия, т.е. вопрос возвращался к исходной точке. Но то было время, когда рассуждать вслух о подобных вопросах было уже строго запрещено. Остава-

лось только заменить осторожное «возможно» циническим «уже существует», и цикл теоретических рассуждений о смысле русской революции можно было объявить официально законченным.

Однако же оставалась инстанция, к которой поневоле приходилось апеллировать: русская история. Нельзя же было объявить русскую историю небывшей и запретить всякое знакомство с нею. Оставался один выход: переделать историю на свой лад в угоду официальной доктрине. Доктрина учила, что в царство социализма переходят через вполне развитый капитализм. Но разве в России не было капитализма? Было, правда, старое течение старых русских народников, которые в наступление социализма верили, а капитализм в России отрицали. По этому учению социализм мог — и даже должен был — водвориться в России и помимо капитализма. Но для нового поколения русских марксистов этот исход был неприемлем. Им нетрудно было доказать — это и не отрицалось исторической наукой, что капитализм в России все-таки был. Невозможно было доказать, что он дорос до той степени, какая требовалась по Марксу для безболезненного перехода в социализм.

Но вопрос о степени капиталистического развития все же оставался спорным. Русским марксистам представлялась возможность доказывать, что прежняя («буржуазная») наука игнорировала существование капитализма в русском прошлом или, во всяком случае, преуменьшала его значение. Они даже получали поддержку у историков-«западников»: те ведь признавали, что Россия развивается тем же путем, как и европейский Запад, а, следовательно, она должна пройти через стадию капитализма. В споре о сходстве или несходстве русского исторического процесса с западным историки-западники стояли на одной стороне с марксистами — против народников и их предшественников-славянофилов, утверждавших, что у России «особенная статья». Конечно, историки-западники все же не хотели, подобно марксистам, выводить политический строй прямо из современного ему состояния производительных сил; не хотели и признавать государственную власть всецело находящейся в руках господствующего в данное время класса. Но, как увидим, и среди самих марксистов не все было благополучно.

Как бы то ни было, марксистам не хватало такого — совсем своего — специалиста-историка, который бы подвел фактическую основу под официальную формулу «диалектического материа-

лизма». Надо было доказать, что социализм водворился в России при Сталине не каким-то чудесным, сверхъестественным путем, а по всем правилам исторической закономерности, какой требовало учение Маркса. Задача была нелегкая — в сущности, даже невыполнимая. Тем более заслуги были за человеком, который за нее взялся. Это был русский историк М. Н. Покровский: тот самый Покровский, которого его неблагодарные сотоварищи теперь стараются — к счастью, после его смерти, последовавшей до сталинских ссылок и расстрелов, — так же спешно развенчать, как они спешили его канонизировать.

II

М.Н. Покровский — мой младший современник. Он девятью годами моложе меня — по рождению и по окончанию Московского университета (1891). Он, вероятно, слушал мои первые лекции; но ближе мы с ним встретились на семинарии проф. Виноградова⁴ по всеобщей истории, где участники работали серьезно и научались строго научному методу работ. Покровский, один из самых младших участников, обычно угрюмо молчал и всегда имел какой-то вид заранее обиженного и не оцененного по заслугам. Я думаю, здесь было заложено начало той мстительной вражды к товарищам-историкам, которую он потом проявил, очутившись у власти. У нас он считался «подающим надежды», но тогдашних работ его я не знаю. Еще в 1900 г. он просил у меня работы в академическом стиле, и я не без удивления прочел, что «к 1905 г. М.Н. окончательно определился как теоретик-марксист и практик-революционер» и что, «вступив в ряды большевистской партии, он принял активное участие в организации вооруженного восстания в качестве пропагандиста-агитатора и публициста»⁵. Очевидно, я опоздал, считая его «кадетом».

В той же биографической справке говорится, что Покровский «после Лондонского съезда 1907 г. перешел на нелегальное положение и эмигрировал за границу. К этому времени относятся его крупнейшие работы “Русская история с древнейших времен” и первая часть “Очерков истории русской культуры”». Вернувшись в 1917 г. в Россию, Покровский быстро движется по линии партийных назначений. Он участник всех партийных съездов и конференций, член Совнаркома и ВЦИКа, организатор научных учреждений и учебных заведений, руководитель архив-

ных изданий, редактор научных журналов, — и везде и всегда «непримиримый боец за марксистско-ленинскую теорию, за большевистскую партийность в науке против «право»- и «лево»-оппортунистических извращений марксизма-ленинизма, против контрреволюционного троцкизма и буржуазных теорий»⁶. Словом, Покровский становится большим сановником по служебной карьере и строгим блюстителем марксистского правоверия в своей науке. Мог ли он ожидать что по смерти сам попадет в еретики?

Займемся немного правоверием Покровского. Как таковой, он должен был стоять на страже против всяких «буржуазных» пережитков и увлечений в исторической науке; от него должны были ожидать, по его положению, и заполнения того пробела в науке, который мешал ответить на коренной вопрос, поставленный выше: созрела ли Россия для социализма? Тут он должен был проявить некоторое творчество. Вопрос не был научно изучен; материалы для ответа не были подготовлены недостаточно было знать что сделано до сих пор; нужно было поработать самому над первоисточниками. Метод работы был Покровскому известен: он все-таки был человеком нашей выучки. Его выводы были для всех нас особенно интересны, так как у нас с ним были общие сходные точки. Мы вместе пережили полосу увлечения «экономическим материализмом», жаждали его применения к русской истории — и не сразу узнали, что Покровский обскакал нас перейдя от модной теории в ее общем виде к тому специальному употреблению, какое сделано из нее в учении Маркса и Энгельса.

Надо признать, что его шаги в этом направлении были постепенны. Его «четырёхтомник», написанный за границей в 1910–1912 годах («по тому в год», совсем, как «История России с древнейших времен» Соловьева, у которой он заимствовал заглавие), держится в рамках «университетской науки», хотя он и относится уже к ней свысока и презрительно. Нового он тут не дает, хотя работы своих предшественников и товарищей хорошо знает и пользуется ими широко, стараясь, однако, на всяком шагу уязвить их и подчеркнуть свое превосходство. Его «История» идет, конечно, дальше курса Ключевского — на все то расстояние, которое прошло от составления этого курса до появления новых работ нашего поколения, следовавшего за Ключевским.

Главный талисман Покровского, с помощью которого он всех обгоняет, прост: он заключается в том, что к добытым до него знаниям он применяет новую терминологию. Правящий класс у

него называется «феодалами», а торговый и промышленный — «буржуазией» — и так на протяжении всей «Истории от древнейших времен». Более самоуверенно, чем все мы в те годы, он развенчивает «героев» в пользу господствующего класса, а этот класс делает автоматом экономических условий и состояния «производства». Никакой, конечно, «великой державы» не было на заре истории. Преимущество киевской «городской» Руси над владимиристо-суздальской «сельской», особенно ярко подчеркнутое Ключевским, уступает место единому «эволюционному процессу», вытягивающему ту и другую главу истории в один, медленно восходящий ряд. Никакого и «юридического» признака договоренности не полагается в древнерусском «феодализме»: «Этот последний гораздо более есть известная система хозяйства, чем система права»⁷.

Покровский даже жертвует эффектной ролью «торговли» при возникновении русского государства: «Какое может иметь значение торговля при сплошном господстве натурального хозяйства на протяжении целого ряда веков?» А это даже не «меновая торговля», а «просто разбойничья». «Собирателей» московской Руси автор трактует не менее иронически. «Рассыпаться было нечему; стало быть, нечего и собирать... оставим старым официальным учебникам подвиги собирателей». На «реформах Грозного», на «публицистике» его времени и на личности самого царя Покровский останавливается *con amore*; но «изображать эти “реформы” как продукт государственной мудрости самого царя и тесного кружка его советников уже давно стало невозможным».

Дело тут, как полагается для «материалиста», в экономике: в переходе к «среднему землевладению, успешно сживавшемуся с условиями нового менового хозяйства» и с подъемом «исстари сильной в Москве буржуазии». И даже «акт династической и личной самообороны царя [опричнина]... диктовался объективно экономическими условиями». «Во всем перевороте, совершенном Грозным, речь шла об установлении нового классового режима, для которого личная власть царя была лишь орудием». Что и требуется доказать «марксисту». «Воскресение старого политического режима» после Смуты объясняется опять «возрождением старых экономических форм, которые веком раньше казались отжившими». «Новый подъем начался не ранее конца XVII столетия».

Наконец, Петр Великий и «знаменитый вопрос Милюкова» — что сделало неизбежным появление России в кругу европейских государств того времени? «Ученики Соловьева демонстрировали необходимость переворота как необходимость военно-финансовую». Конечно, они ничего не понимали. «Шесть лет после диссертации Милюкова впервые было указано (Туган-Барановским) на торговый капитал как экономическую основу петровской реформы». И глава о петровской реформе сопровождается подзаголовком: «Торговый капитализм XVII века». Правда, это капитализм европейский, рассматривающий Россию как «колонию». «В России конца XVII века были налицо необходимые условия для развития крупного производства: были капиталы — хотя отчасти и иностранные, был внутренний рынок, были свободные рабочие руки. Всего этого слишком достаточно, чтобы не сравнивать петровских фабрик с искусственно-выгнанными тепличными растениями» (полемика против меня. — П.М.). Но... «самодержавие Петра и здесь... создать ничего не сумело. История петровских мануфактур в этом отношении дает полную параллель к картине того административного разгрома, которую так хорошо изобразил в своей книге г. Милюков».

Чтобы оправдать экономику, автор готов на этот раз сойтись со мной в применении, хотя бы и отрицательном, «индивидуального метода», обычно им высмеиваемого. Виноват Петр: он неминуемо «пытался учить капитал, загнав его дубиной в промышленность», хотя тот «опять просился в торговлю». Так и не вытанцовался промышленный капитал при Петре; Россия осталась при торговом; да и то: «завоевание России торговым капиталом было временным и непрочным». Но, разумеется, в этой «отсталости» не было ничего своеобразного — никакой «национальной особенности русского народа». Просто произошло запоздание общего повсюду процесса. По существу же, сходство того, что происходило в России начала XVIII века, с тем, что знакомо западноевропейской истории XVI в. — иногда фотографическое.

Несколько словесных изворотов, — и теория опять спасена ценой признания запоздания России на сто лет с лишком.

«Набег торгового капитала», как бы то ни было, «не изменил дворянской природы Московского государства». Глава о Елизавете так и озаглавлена: «Новый феодализм». «Шляхетство, наконец, добилось своего». «Буржуазные наслоения первых лет XVIII века были смыты теперь основательно, — и старей

социальный материк должен был выступить наружу». «Государь-помещик» окончательно превратил свою вотчину в «маленькое государство». «Новый феодализм» принял и «свой политический аспект»: теорию сословной монархии. Это, конечно, должно быть переходом к Екатерине II. Покровский тут возражает против тех исследователей, которые, в пику мне, «перегнули палку в противоположную сторону и стали рисовать екатерининскую Русь чуть не капиталистической страной». Действительно, это противоречило бы всему предыдущему изложению Покровского. При Екатерине социальное принуждение не экономическое, а «внеэкономическое»: это не «так называемое освобождение крестьян», а полный расцвет крепостного права. «Идею освобождения крестьян в XVIII веке убили [высокие] хлебные цены». Итак, запоздание России еще на сто лет, да еще с «внеэкономическим» давлением власти!

Не будем продолжать этих сопоставлений. Повторяю, во всем этом много верного, такого, что в большей или меньшей степени было общего у всех нас. Покровский только в своей жажде самовозвеличения утрировал это общее, доведя местами почти до карикатуры, но не имея еще смелости отойти от наших общих достижений.

И все же — он отстал от событий. Перепечатывая в 1922 г. свой «четырёхтомник», он уже должен был извиниться, что курс его «мало удовлетворителен с точки зрения теперешнего марксиста». Но... «нет другого курса русской истории, более марксистского», и «для первоначального ознакомления с тем, как понимают русскую историю историки-материалисты, приблизительно достаточно и существующего текста»*. Покровский не предвидел, что в дальнейшем от извинений ему придется перейти к покаяниям — и притом неоднократно. Но он — за страх или за совесть — старался быть на высоте и не отставать от века. Он избрал для этого легчайший способ — изобличать других в недостатке марксизма или суждениях о русской истории. Сам он начал еще более упрощать свои прежние взгляды в том направлении, которое считал ортодоксальным. Сейчас увидим, как в этом процессе упрощений и приспособлений он запутался, нарвавшись не на безгласных своих последователей и слушателей, а ... на самого Троцкого.

* См.: Покровский М. Н. Русская история с древнейших времен. Т. 1. Л., 1924. С. 3. (Предисловие к 4-му изданию).

III

Пока все шло благополучно. Вернувшись в Россию накануне октябрьского переворота, Покровский показал себя, как мы видели, «непримиримым борцом за марксистско-ленинскую теорию и за большевистскую партийность в науке». Его четырехтомник был перепечатан Госиздатом в 1922 г. и достиг в два года шестого и седьмого издания, тогда как курс Ключевского застрял на втором и третьем. Начался головокружительный партийный взлет Покровского. В качестве носителя ортодоксии в «науке» он стал монополистом и принялся усердно обличать «право»- и «лево»-оппортунистических извратителей «официальной доктрины». В 1923 г. таким уже проявил себя Троцкий в борьбе против Сталина за власть. Это был достойный объект для нападения. Но я позволю себе привести здесь длинную цитату из Покровского, которая покажет, как он ввязался в эту роковую для него драку.

«Года три тому назад студенчество наших коммунистических университетов было в большом волнении. Оно привыкло читать в марксистских руководствах по русской истории, что социально-политическое развитие России шло таким же путем, как и развитие стран Западной Европы; что русское самодержавие было таким же исполнительным комитетом крупных земельных собственников и крупного коммерческого капитала, как и западноевропейский абсолютизм XVI–XVII вв., что судьбы этого самодержавия определялись в конечном счете развитием русского капитализма и, стало быть, зависели от общественного развития России».

И вот — вышла книжка Троцкого «1905», где студенты увидели написанным черным по белому, что в России абсолютизм существовал «наперекор общественному развитию», что он превратился у нас в «самодовлеющую организацию, стоящую над обществом»; что он возник вовсе не на основе раннего капитализма эпохи «первоначального накопления», а «на примитивной экономической основе» (которая дальше поясняется как натуральное хозяйство «самодовлеющего» характера), и для создания его русское государство «должно было обгонять развитие своих собственных экономических отношений». Словом, все было совсем наоборот тому, что рассказывали русские историки-

марксисты. А на естественно возникший у коммунистических студентов вопрос, на чем же выросло самодержавие, если оно не зависело от общественного развития и обгоняло экономические отношения, на первой же странице можно было прочесть ответ: «При слабом сравнительно развитии международной торговли решающую роль играли межгосударственные военные отношения. Социальное влияние Европы в первую очередь сказывалось через посредство военной техники». Не капитализм толкал вперед развитие русского государства, а наоборот, русский абсолютизм ревностно насаждал капитализм для своих военно-политических целей. «Чтобы удержаться против лучше вооруженных врагов, русское государство было вынуждено заводить у себя промышленность и технику».

Словом, первая и основная особенность исторического развития России состояла в том, что всюду в мире экономика командовала над политикой, а у нас наоборот. Согласитесь, что коммунистическим студентам было чему удивляться. Естественно, что они не без гнева (авторитет Троцкого в 1922 г. был еще велик) обратились к своим профессорам истории. «Что же вы нам рассказываете? Почитайте, что пишет Троцкий: дело совсем не так было!»*.

Положение стало еще серьезнее, когда Троцкий на первую же обличительную статью Покровского** ответил, что его взгляд вовсе не случаен, а сложился у него в тюрьме в 1905–1906 г. и напечатан в «Нашей Революции» в Петербурге в 1907 г. как способ «исторически обосновать и теоретически оправдать лозунг завоевания власти пролетариатом, противопоставленный как лозунгу буржуазно-демократической республики, так и лозунгу демократического правительства пролетариата и крестьянства». Это и была теория «перманентной революции» Троцкого. Без этой теории «нельзя и сейчас понять октябрьскую революцию». И Троцкий развил свой взгляд в статье «Об особенностях истори-

* Покровский М. Н. Троцкизм и особенности исторического развития России // Коммунистический Интернационал. 1925. № 3 (40). С. 21–22.

** Против концепции Троцкого Покровским были опубликованы статьи, см.: Правда ли, что в России абсолютизм существовал вопреки общественному развитию? // Красная новь. 1922. Кн. 7; Своеобразие русского исторического процесса и первая буква марксизма. (Нечто вроде ответа т. Троцкому) // Правда. 1922, 5, 13 июля; Троцкизм и особенности исторического развития России.

ческого развития России». У нас не было европейского города, и наш торговый капитализм «объясняется именно чрезвычайной примитивностью и отсталостью русского хозяйства».

Пришлось русской государственной власти «стать историческим орудием в деле капитализирования экономических отношений России» «с помощью европейской техники и европейского капитала»*.

Не будем входить в специальный спор Покровского с Троцким. Но дело в том, что главным противником Покровского в этом споре оказался не Троцкий, а вся историческая наука предшественников Покровского. Троцкий обошел его, так сказать, с тыла. И спорить ему приходилось не столько с Троцким, сколько с Ключевским и... Милюковым. «Что это такое, как не теория внеклассового государства, которую развивал Милюков?.. Пусть Троцкий отмежевывается от Милюкова. Все же, стоя на своей позиции, он не может сказать о кадетском историке больше, чем что схема того есть “страшное преувеличение”». Преувеличение чего? — допрашивал Покровский. Ошибки или правильного в основе понимания русского исторического процесса? Ясно, что последнего...** Но Милюков повторяет Ключевского, а Ключевский Чичерина, и все они стоят на почве «преувеличения» роли государства... Карамзиным. Вот где завяз Троцкий...

Что касается меня, я уже во введении к первому тому нового издания «Очерков» признал долю своего «преувеличения» при попытке синтеза двух противоположных конструкций русской истории: одной, которая строится на «своеобразии», и другой, которая строится на «сходстве» русского исторического процесса с западным. Я всегда признавал неправильным доводить «своеобразие» до «исключительности», а сходство до «тождества»⁸. Да и сам Покровский, пока он стоял еще на почве предыдущих научных работ в своей «Истории», в сущности, не мог бы возражать Троцкому. Мы только что видели, что «отсталость» русского исторического процесса он признавал и причиной его тоже считал запоздалость экономического развития. Следуя строгой доктрине экономического материализма,

* См.: Троцкий Л. Об особенностях исторического развития России. (Ответ М.Н. Покровскому). В кн.: Троцкий Л. 1905. 4-е изд. М. С. 296.

** Покровский М. Н. Правда ли, что в России абсолютизм существовал наперекор общественному развитию? С. 145–146.

он должен был бы отнести на счет слабости экономического фундамента и характер политической «надстройки», т.е. другой несомненный факт русского прошлого: политическое господство «государства» над «классами». Чтобы избегнуть этого вывода, Покровский отрицает самый факт господства государства и, наоборот, старается доказать тезис господства «классов» над «государством».

Но тут начинаются его собственные «преувеличения», стоящие в очевидном противоречии с его же утверждениями относительно хотя бы отрицательного влияния «государства» в лице его представителей на ход экономического развития. Он наблюдает, например, в развитии экономики перерывы «реакций», вызванные «реформами» таких личностей, как Иван Грозный или Петр Великий. Он признает и влияние войн, и внешней политики на экономику. Личную историю государей он рассказывает с большим вкусом, продолжая в то же время отрицать их историческую роль. Словом, Покровский подпадал обвинению, которое и было против него позднее выставлено, что он сам «складывался как историк не в рядах большевистской партии, а в среде левых демократических историков»; что он «был демократическим историком, не имеющим понятия о марксизме, а затем примкнул к легальному марксизму».

Не могло быть ничего невыносимее этого обвинения для Покровского, и он принялся очищаться от обвинения в своей зависимости от «буржуазных» историков, трудами которых так широко воспользовался в своей «Истории». Он перебрасывал, напротив, то же обвинение на Троцкого и занялся розысками, откуда произошла та теория о «внеклассовом государстве» на «примитивной экономической основе», в усвоении которой он обвинил Троцкого. Ряд его полемических статей посвящается с этого времени обличениям русских историков. Мало того, он организовал двухтомное исследование о «Русской исторической литературе в классовом освещении»⁹, в котором его ученики представили ряд подробных критических разборов учений тех историков, которых Покровский избрал мишенью своих нападений. Мы сейчас увидим, что он пересолил в этих обличениях, а Троцкий, опираясь на раскритикованных им историков, оказался более сильным противником, нежели он предполагал.

IV

Общая цель русских историков до Покровского, по его мнению, ясна. Находясь на службе у буржуазии, они всячески стараются скрыть ту классовую борьбу, которая на основе того или другого экономического строя ведет к созданию того или другого политического режима. Обличить этот «классовый» трюк и значит — найти ключ к «расшифровке» и пониманию «буржуазных» построений русской истории. Поднадзорные Покровского, повинные в подобных уловках, строятся им в следующий хронологический ряд: Карамзин, Чичерин, Соловьев, Ключевский, Милюков, а из «левых», поддавшихся их тлетворному влиянию, Плеханов и Рожков. Первые три внесли для маскировки классовой борьбы каждый свою фальшивую идею: Карамзин — голую идею «государства», Чичерин — всемогущую роль этого государства в ходе социального процесса: сперва в «закреплении» созданных государством сословий, а потом в их «раскрепощении» — все время в интересах правящего класса. Соловьев прибавил к этому указания на пружину, двигавшую усилением государства, — «борьбу со степью» и необходимость вооружаться для этой цели европейской техникой. Остальные так или иначе комбинировали эти основные идеи, оставаясь, однако, под гипнозом якобы «внеклассового государства».

О Карамзине, конечно, нечего и говорить: его панегирик государству развенчан уже самими буржуазными историками. Чичерин, тамбовской помещик и гегельянец, — другое дело. Это он строит схему закрепощения и раскрепощения, господствовавшую с 1858 г. вплоть до Ключевского и Плеханова. Ключ к ней, конечно, дается предстоящим тогда освобождением крестьян согласно интересам помещиков, продиктованным переходом (только тогда. — *П.М.*) к товарному хозяйству от натурального. Соловьев — сын столичного протопопа и «самый образованный из русских историков» — пустил в ход идею борьбы с хищниками степи явно в связи с восточными войнами Николая I и Александра II. Его «ключ» — бессознательная работа на пользу расширения внешнего рынка в интересах «промышленного капитализма» (наконец. — *П.М.*) на смену «торгового». Его слабая сторона — маскировка «борьбой со степью» завоевательной внешней политики самодержавия.

Ключевского классифицировать по этому способу труднее. Он — эклектик, соединивший «прикрепление и раскрепощение сословий» Чичерина с «борьбой со степью» Соловьева и прибавивший от себя национальный момент — Великороссию. Соединение, однако, вышло не «химическое», а только «механическое», замаскированное «гениальной» стилистикой профессора и писателя. Сын дьячка, Ключевский, конечно, «не может считаться выразителем какой-нибудь определенной классовой психологии»; но он «типичный представитель интеллигенции, т.е. того между-классового строя, который, с одной стороны, связан с капиталом, с другой стороны, эксплуатируется этим капиталом, поэтому он против буржуазии». Милюков — ну, что же говорить о Милюкове. Поскольку он не следует Ключевскому, он, начав с попытки примирить абсолютно непримиримое — «государственную» схему русской истории со Щаповым, идеологом крестьянского класса в 60-е годы, возвращается в наши дни почти к чистой «щапощине». Это — «почти замкнутая кривая: домарксистский исторический материализм».

Гораздо важнее, что «теория внеклассового государства, которую развивал Милюков без помощи марксистской терминологии» и которую «почти слово в слово повторил Троцкий», «держит в плену» и такого представителя «технической интеллигенции», как Плеханов, и такого идеолога «дотехнической интеллигенции», как Рожков. Вопреки истинному марксизму Плеханов делает «несомненную попытку сколь возможно эмансипировать политический момент из-под влияния производительных сил: отодвинуть его подальше от них». Став на этот путь, Плеханов «со ступеньки на ступеньку» восстанавливает и соловьевского «кочевника», и чичеринское «закрепощение» ...

В своем прокурорском усердии Покровский отнесся с кондачка к замечательному труду Плеханова. Мысль Плеханова гораздо глубже и сложнее «марксистских» упрощений Покровского. Полемизирует Плеханов не со мной, а с Ключевским, ставя на очередь общую нам задачу: найти синтез «сходства» и «своеобразия» русского исторического процесса. Отрицая «полное» своеобразие, Плеханов признает «относительное» и усердно ищет его причин — между прочим, в условиях географической среды. Отрицая приоритет «политического момента» над экономическим, он, однако, намечает приемлемый компромисс. «В действительности, — говорит он, — "политический момент" никогда и нигде

не идет впереди экономического; он всегда обуславливается этим последним, что нисколько не мешает ему, впрочем, оказывать на него обратное влияние».

Отворачиваясь от этого пути синтеза и сворачивая все дальше на путь квазимарксистского правоверия, Покровский сильно перегнул палку и испортил свое положение. Пока он разъяснял своих «буржуазных» предшественников, он оставался в пределах своей монополии, и дело шло благополучно. Но когда он набросился с обличениями на чуждый ему по идейному развитию лагерь марксистов, хотя бы и «еретиков»*, положение изменилось. Если в начале 20-х годов студенты обращались к нему с недоуменными вопросами по поводу его полемики с Троцким, то в семинарах 1930–1931 гг. они уже перешли в наступление и сами начали обличать своего профессора в «безграмотностях». Мы имеем признания Покровского, что эти семинары «чрезвычайно помогли» ему в исправлении этих «безграмотностей». Но были между ними и такие, которые исправить было трудно.

Покровский обличал русских историков-«государственников» тогда, когда советское государство достигло небывалых пределов «политического» вмешательства в «экономический» строй страны и когда оно напрягло экономические силы сверх всякой меры — именно ввиду их «отсталости». Оно поступило совершенно так, как поступали его предшественники в Московском государстве XVII века, как поступал и Петр Великий... Покровский доказывал быстроту экономического роста России перед октябрьским переворотом, тогда как деятели этого переворота подчеркивали резкий разрыв с прошлым. Это и вызывало в идейных противниках сомнение в подготовленности к нему русского капитализма. Он, наконец, настаивал на сходстве русского и западноевропейского развития, когда Сталин уже утвердил догмат о национальном происхождении русской революции и переходил к реставрации национального взгляда на «своеобразие» русского прошлого. Наконец, Покровский отрицал роль личности — даже Петра Великого — в истории, когда сравнение с Петром уже становилось ходячим приемом лести «великому, гениальному вождю

* Покровский М. Н. Борьба классов и русская историческая литература. Лекции, читанные в Коммунистическом университете имени тов. Зиновьева 3–7 мая 1923 г. Л., 1926. 2-е изд.; Покровский М. Н. Марксизм и особенности исторического развития России. Л., 1925.

народов». Словом, ослепленный важностью принятой на себя миссии, Покровский задевал самые деликатные темы и танцевал на чувствительных мозолях. Недовольство накоплялось; должен был последовать и взрыв.

V

По счастью для Покровского, настоящая реакция против его «школы» последовала уже после его смерти*. Но прежде чем перейти к ней, надо отметить его прижизненные уступки и признания. «Совершенно ясно, — писал он в 1931 г., за год до смерти, — что в ряде отдельных формулировок, иногда очень важных, старые изложения моей концепции звучали весьма не поленински, а иногда были попросту теоретически малограмотны. Так, например, безграмотным является выражение «торговый капитализм»; капитализм есть система производства, а торговый капитал ничего не производит» ... И он цитирует Маркса: «Самостоятельное развитие купеческого капитала стоит в обратном отношении к общему экономическому развитию общества... Денежное и товарное обращение может обслуживать сферу производства самых разнообразных организаций, которые по своей внутренней структуре все еще имеют главной целью производство потребительной стоимости»¹⁰.

Куда же после этого деваается объяснение происхождения русского государства из «торгового капитала» или ссылка, по Ключевскому, на хлебную торговлю Москвы и на обилие тамошних лавок с товарами в XVII столетии в доказательство сравнительной высоты ее экономического развития? Торговый капитал «ни при чем», — продолжает Покровский, — и в «усилении феодальной эксплуатации крестьян в конце XVI века» (т. е. в происхождении крепостного права). «Наконец (и это главное. — *П. М.*), не приходится скрывать, что в первых редакциях моей схемы был недостаточно учтен и факт относительной независимости политической надстройки от экономического базиса». Позабыты были слова Энгельса: «к чему же мы тогда бьемся за политическую диктатуру пролетариата, если политическая власть бессильна? Сила есть точно так же экономическое могущество». Ничего другого не

* См.: Против исторической концепции Покровского. Сб. Ч. I II. М.; Л., 1939–1940.

говорил и Плеханов. «Экономический материализм (уже теперь в смысле осуждения. — П.М.) не был еще мною изжит на все сто процентов, когда я писал и “Русскую историю”, и “Очерк истории культуры”, и даже “Сжатый очерк”!»

Покровский обещал теперь представить «окончательную схему», которая примет во внимание и Энгельса, и Ленина; но при этом он оговаривался: «Свободна ли эта окончательная схема от ошибок? Никак не могу обещать» ... Представить эту схему после приведенного покаяния Покровскому помешала смерть. Но она же послужила сигналом к окончательному разгрому его приемов и его «школы»; Покровский был даже обвинен в том, что искусственно и злостно задерживал эту реакцию.

В первой половине 1936 г. против Покровского выступили такие тузы, как Радек¹¹ и Бухарин¹². К этому времени воспоминание о его личных «заслугах» и о его влиянии на молодежь уже настолько успело изгладиться, что оба критика не церемонились с покойником. Радек прямо отчислил его от категории марксистских историков и вернул на принадлежащее ему исторически место. «М. Н. Покровский складывался как историк не в рядах большевиков, а в среде левых демократических историков... Он был демократическим историком, не имеющим понятия о марксизме, а затем примкнул к “легальному марксизму”... Маркса они воспринимали через схему Богданова¹³, а не через диалектику Ленина. Поэтому место диалектического материализма у них занял так называемый экономический материализм».

Это было верно; но верно было и то, что, поскольку Покровский опирался на своих предшественников, на которых опирались и Троцкий, и Плеханов, — он стоял на твердой почве. Все, в чем его теперь стали обвинять подлинные марксисты, явилось результатом его усилий раскритиковать это свое прошлое и заменить его квазимарксистским подходом с соответствующими упрощениями, которые с течением времени становились все более и более смелыми. Сюда, прежде всего, относится его тезис о зависимости политической надстройки от производственной и экономической базы. Радек приходит в полное негодование от этой измены Энгельсу. Позвольте: как же утверждать, что «политический момент есть второстепенный», когда пролетариат борется за диктатуру, а победители 25 октября разгоняют Учредительное собрание? «Вопрос, в чьих руках власть, оказался отнюдь не второстепенным. И, признав эту ошибку, Покровский впал в другую крайность». Он

нашел, что, совершая переворот, большевики «прорвались к социализму сквозь всякие законы, наперекор узкоэкономическим законам»*. То есть, значит, он присоединился к тезису Каменева и Зиновьева о несвоевременности переворота...

Нет, несмотря на «отказ от ряда формулировок», «все исторические работы Покровского пронизаны не марксистскими экономическими понятиями; его работы чужды ленинизму». Бухарин избрал для критики Покровского другой, более практический подход, на который указал отчасти сам Ленин. Получив две первые части «Русской истории в самом сжатом очерке», очевидно, предназначенные служить учебником, Ленин поздравил Покровского с успехом, но осторожно заметил ему, что для того, «чтобы книга была учебником, надо дополнить ее хронологическим указателем... чтобы не было верхоглядства, чтобы знали факты»**. На самом деле, изложенная на 180 страницах до Александра III включительно, книга была явно неудобоварима для преподавания. Излагались не столько «факты», сколько «схемы», нам уже известные и трудно усваиваемые учащимися средней школы.

Бухарин нашел для этого объяснение — тоже в прошлом Покровского. «В прежней историографии, которая имеет свои корни еще в придворных хрониках царей, эти последние рассматривались как единственные божественные творцы исторического процесса, чудотворные делатели истории, лепившие ее по своему произволу и усмотрению. Этой историографии Покровский противопоставил попытку общедоступного рассмотрения исторического процесса, т.е. рассмотрения общественно-исторических формаций. Но он оторвал общество от его агентов, абстрактное от конкретного, социологию от истории, "законы" от "фактов"... Как потом он ни старался говорить о "конкретном", ничего конкретного не получалось, и многие его воспитанники тонули в схоластических словопрениях и в том "верхоглядстве", которого так опасался Ленин. Вина опять — в отсутствии "диалектики". Диалектика возвращает схемам живые краски и личные образы». Что особенно

* Летопись газетных и журнальных статей за 1936 г. не содержит ссылки на указанную статью К. Радека. В «Правде» (27.01.1936) напечатана его статья «Значение истории для пролетариата», в которой осуждается Покровский и его школа.

** Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 52. С. 24.

возмутило Бухарина у Покровского, это применение «классовой точки» зрения к истории пролетарской. Она тоже должна быть классовой, а, следовательно, объективной быть не может, учил Покровский. История есть «политика, опрокинутая в прошлое». Бухарин утверждал, конечно, что пролетарская история составляет единственное исключение из этого правила и что, будучи правдивой, она непременно будет не засушенной в «схемы», а красочной, как сама жизнь¹⁴.

Итак, вопрос сводился к плоскости педагогической. Но тут он сразу приобрел иной политический смысл и иную постановку. Для недоучившегося семинариста Сталина теоретические споры и высшие достижения русской историографии были недоступны. Но политическое значение преподавания русской истории он понимал прекрасно. И задача вернуть жизнь схемам совпадала с его собственной тенденцией — одеть теоретическую и спорную «генеральную линию» в живой национальный костюм. Сам он был не прочь занять в этой бутафории роль «единственного божественного творца и чудотворца», чье имя жило бы в веках... ну хоть по образцу Петра Великого, с которым Покровский не знал, что делать. Для этого нужно было вернуть школьную историю ко временам гораздо более отдаленным, чем времена непосредственных предшественников и современников Покровского.

VI

Совершить сразу этот переход, однако, оказалось нелегко. Слишком въелась в умы интеллигентская обработка истории. 16 мая 1934 г. Совнарком и ЦК партии «констатировали, что преподавание истории в школах СССР поставлено неудовлетворительно. Учебники и само преподавание носят отвлеченный схематический характер. Вместо преподавания гражданской (подчеркнуто) истории в живой занимательной форме с изложением важнейших событий и фактов в их хронологической последовательности, с характеристикой исторических деятелей, — учащимся преподносят абстрактные определения общественно-экономических формаций, подменяя таким образом связное изложение гражданской истории отвлеченными социологическими схемами». Этими отрицательными указаниями восстанавливался традиционный тип учебника: «доступное, наглядное и конкретное» изложение фактов в хронологической последовательности, «с обязательным

закреплением в памяти учащихся важных исторических явлений, исторических деятелей, хронологических дат».

К июню 1935 г. постановлено было приготовить новые учебники, и для истории СССР назначена комиссия в составе профессоров Грекова, Панкратовой и Пионтковского под руководством проф. Ванана. На первую очередь было поставлено составление элементарных учебников для начальной и неполной средней школы*. Конспекты были представлены названной группой и жестоко раскритикованы в «Замечаниях», подписанных 8 августа того же года Сталиным, Кировым и Ждановым**. Дело в том, что в комиссию попали все те же «ученики Покровского», которые «не поняли задания» и вместо конспекта учебника представили «журнальную статью, где можно болтать обо всем». Вместо «истории народов СССР» они предложили составить «русскую историю», забыв о лозунгах «царизм — тюрьма народов» и «царизм — международный жандарм». Вместо «марксистских научно-обоснованных определений» скопированы «затасканные и совершенно ненаучные определения всякого рода буржуазных историков», вроде: «пугачевщина», «первые шаги царизма в борьбе с революцией» и т. д. Не учтена зависимость «полукOLONиальной» России от европейского капитала и кризис европейской демократии и парламентаризма, чем ослаблена роль октябрьской революции и «не мотивирована роль советов как носителей пролетарской демократии». «Вообще, конспект не совсем грамотен с точки зрения марксизма»...

Тон этой критики усилился, когда группа проф. Ванана представила самый текст учебника, другие группы — Минца и Лозинского — учебник для начальной школы. «Авторы продолжают настаивать на неоднократно вскрытых партией установках, имеющих в своей основе известные ошибки Покровского». Ввиду такой оценки Совнарком и ЦК переходят в наступление. Они «подчеркивают, что эти вредные тенденции и попытки ликвидации истории, как науки, связаны в первую очередь с распространением среди некоторых наших историков ошибочных исторических взглядов». «Для дела нашего государства, нашей партии и для обучения подрастающего поколения» эти «вредные взгляды

* Собрание законов СССР. 1934. № 26. Ст. 206.

** Замечания о конспекте учебника по новой истории 8–9 августа 1934 г. Сталина И., Жданова А. и Кирова С. // Известия. 27.1.1936.

должны быть преодолены»*. Так «ошибки» уже становились своего рода «государственным преступлением».

Бедный Покровский! Большая часть этих «ошибок» ведь была сделана именно для того, чтобы подладиться под требования «настоящего марксизма». Сколько раз он каялся, отказывался от своих прежних взглядов, осуждал свой «экономический материализм», отрясал прах от своих предшественников, — даже от самой науки, доказывая, что не может быть вообще «объективной» исторической науки, напрасно он отдал свою науку на служение коммунистической партии, признал даже, что «настоящий марксизм допускает очень сильное вмешательство политического момента во всех стадиях развития». Все это было поздно.

А его «школа»? Еще в 1929 г. А. Шестаков в «Новом мире» восторгается председательствованием «воинствующего историка» на многолюдном съезде «всесоюзной конференции историков-марксистов»**, в противоположность съезду буржуазных историков в Осло***. Здесь наперерыв углубляют грань между «ними» и «нами» и объявляют «борьбу с чуждыми марксизму и классово-враждебными пролетариату идеологиями и их пережитками, в чем бы они ни состояли, и кто бы их ни распространял». А немедленно по смерти Покровского становятся жертвами этой широкой формулы сами участники марксистского съезда — «ученики Покровского» вместе со своим учителем. Некий П. Дроздов в «Правде» (27 марта 1937 г.) объявляет их уже прямо «двурушниками, взаимно покрывающими и поддерживающими друг друга и проводившими подлую вредительскую работу, широко пользуясь слепотой, ротозейством и идиотской болезнью — беспечностью некоторых историков-коммунистов».

Забыта и полемика Покровского с Троцким: его ученики, оказывается, «протаскивают» троцкистскую пропаганду!

От этих обличений критика скоро переходит в самую неприличную брань! Эти «участники троцкистско-бандитских шаек, Фридлянд, Зайдель, Ванег, Невский, Пионтковский, Далин и др.» — суть «подлые враги народа», «мерзавцы». Словом, на

* Шестаков А. На историческом фланге // Новый мир. 1929. № 2.

** На VI Международном конгрессе исторических наук (14–18 августа 1928 г.) в Осло историки СССР впервые приняли участие в качестве официальной делегации в составе 11 человек. Ее возглавлял Покровский.

*** Там же. 1865. № 24. С. 469.

них переносится весь ходячий арсенал обвинений, ведущих к «высшей мере» наказания... («Правда», 20 марта)¹⁵.

26 января 1936 г. Совнарком и ЦК постановляют организовать комиссию для переделки представленных учебников и для объявления конкурса на составление новых. Задача — нелегкая после всего сказанного — оказывается на этот раз приблизительно достигнутой. «Ряд учебников из числа представленных 46, — констатирует жюри, — отошел от прежнего типа». «Вместо отвлеченных социологических схем в этих учебниках, при всех их недостатках, соблюдается историко-хронологическая последовательность, дается описание важнейших исторических явлений, перечень основных хронологических дат и характеристика исторических деятелей». К числу недостатков относятся: «идеализация дохристианского язычества», «игнорирование прогрессивной роли монастырей»; авторы рассматривают переход Украины и Грузии под власть России «как абсолютное зло», «преувеличивают организованность и сознательность крестьянских волнений до XX столетия» («вне руководства рабочего класса»), «идеализируют стрелецкий мятеж, не оценивают победы Александра Невского на Чудском озере» и т. д.

Очевидно, «патриотические» указания Сталина все еще не приняты целиком во внимание. Поэтому первой премии не получает никто. Вторая выдается учебнику под редакцией А. В. Шестакова* (того самого). 24 августа «Известия» празднуют этот великий успех, как «событие огромного государственного значения»**. «Социалистическая культура обогатилась еще одним большим достижением». «Советских школьников можно поздравить с замечательным подарком Сталина». <...>

VII

Перед нами этот пресловутый учебник для начальной школы, возведенный на степень «огромного государственного события». Как низко должна была пасть «советская культура», чтобы прийти в восторг от подобного «достижения», якобы освобожденного, наконец, от всех следов влияния «буржуазной науки». Подумать

* Краткий курс истории СССР / под ред. А. В. Шестакова. М., 1937.

** *Фоменко В.* Сталинский подарок советским школьникам // Известия. 24.08.1937.

только: наконец появился на свет элементарный учебник с самой настоящей хронологией, «фактами» и «характеристиками деятелей»! До водворения сталинского «социализма» в России, очевидно, ничего подобного не было: ни дат, ни фактов, ни деятелей. Присмотримся, в каком виде все это, хорошо забытое, вводится вновь в советскую школу.

Конечно, никаких «завиральных идей» — и вообще никаких идей — в учебнике не имеется. Опасные слова «феодализм», «торговый капитал», «промышленный капитал» и всякие там «формации» совершенно выведены из употребления. Никаких «отвлеченных схем». Все распоряжения Сталина, разумеется, приняты во внимание. Из 217 страниц учебника половина посвящена революционному периоду, начиная с Николая II, и из этой половины большая часть (67 страниц) излагает «Великую октябрьскую социалистическую революцию». Этой части мы касаться не будем, а остановимся на первых 117 страницах.

Сталину, вероятно, было приятно узнать на первых же страницах, что он родился на территории «древнейшего» народа Урарту, который (по сведениям автора) создал «государство родоначальников нынешней Грузии». Кстати, этим сразу осуществлялось требование — писать не «русскую историю», а историю «народов СССР». По существу темы и по характеру элементарного учебника это требование, конечно, оставалось номинальным, и автор вспоминал о нем лишь от времени до времени — когда происходило завоевание этих народов. В основе это все-таки была русская история, и Сталин опять мог испытывать удовольствие, вспоминая свой семинарский учебник.

Вместо неудобопонятных «формаций» здесь честно рассказывались милые предания начальной летописи о Рюрике и Олеге, о том, как древляне разорвали Игоря на части и как Ольга в отместку послала на их город голубей и воробьев с пучками зажженной пакли на хвостах. Следует где-то подслушанный политический разговор Святослава с матерью: сын не верит, что «греческая вера» может «укрепить власть князей», и отвергает относительный пацифизм Ольги, «считая, что объединить славян и создать сильное государство можно только оружием». Все же он поступал по-рыцарски и, «будучи неустрашимым, предупреждал неприятеля о своем нападении, посылая сказать: “иду на вы” (в скобках пояснено: иду на вас)». Но печенегии оказались не такими рыцарями: устроили Святославу засаду и его убили.

Это вышло очень кстати потому что он уже задумал перенести на Дунай свою столицу из Киева». Тогда не было бы ни его сына Владимира на киевском престоле ни, быть может, вообще русского государства. А при Владимире оно напротив «усиливалось и крепло». Владимир, наконец поверил, что «принятие греческой веры укрепит его власть» Он «загнал киевлян в воду, а привезенные из Царьграда попы читали над стоящим в воде народом свои молитвы. Это называлось крещением». Народ, правда, «не раз бунтовал против новой веры», но христианство было в то время шагом вперед в развитии России. Так «распространялась и греческая культура, и образованность», хотя не забывались и «рассказы об удали славянских богатырей».

Я боюсь, однако, что мой рассказ заинтересует читателя более, нежели отрывочные фразы учебника, изложенные корявым языком, точно по скучной обязанности, и лишённые всякой теплоты и патриотического энтузиазма. Предписанное Сталиным «чувство национальной гордости» тут, во всяком случае, не достигается. Дальше идут «стихийные восстания», которые князья подавляли без особых усилий, так как восстания эти были «бессознательными». Автор еще не решается здесь уже прибавить приказанный аргумент: «потому что тогда еще не было рабочего класса». Но затем он регулярно его повторяет, касается ли дело Болотникова, Разина или Пугачева. Только относительно стрелецкого мятежа против Петра дана обязательная директива: считать это восстание «реакционным». Средневековое вече так же, как и земские соборы царя Алексея, не вызывают никакого сочувствия автора: все это ведь делали «бояре, помещики и купцы».

Однако и московских князей учебник не решается хвалить за их «собирательство» России. О «царе-самодержце» Иване IV, «уничтожавшем боярские преимущества», говорится тоже очень спокойно. Личность Алексея Михайловича проходит у автора совсем незаметно. С «умным и деятельным» Петром Великим дело обстоит труднее. «Борьба с отсталостью России» уравнивается с «укреплением власти дворян» и «разбогатением купцов и заводчиков». «При Петре Россия значительно продвинулась вперед, но оставалась страной, где все держалось на крепостном угнетении и царском произволе». Так что и тут радоваться нечему: живого образа не выходит. Пожалуй, с большей симпатией автор говорит о Булавине. Екатерина II стушевывается перед Пугачевым и Радищевым; о ее законодательстве не сказано ничего. Ни

одной черты характеристики Александра I, кроме того, что он возглавил реакционный союз, не находим.

Декабристы? Конечно, они «мечтали о культурной жизни у себя на родине»; но «их было немного, и они не были связаны с народом». Полстранички о Николае I и о его «царстве жандармов и чиновников» (вся глава озаглавлена, как приказано: «Царская Россия — жандарм Европы»), и автор переходит к 48-му году, к «великим русским писателям и к Марксу и Энгельсу». Глава о «росте капитализма в России» кончает перелистанную нами половину учебника. Из реформ Александра II тут говорится только о крестьянском освобождении — со всеми необходимыми оговорками. Зато подробнее рассказывается о Парижской коммуне и о рабочем движении; глава кончается появлением Ленина на рабочих сходках.

Пробелы в изложении внутренних событий обильно восполняются историей войн и приобретений России. Мы уже заметили, что только в связи с покорением народов перечисляются их имена; при этом автор, видимо, колеблется: хвалить ли народы за их сопротивление или хвалить царское правительство за победы? Как и в других сомнительных случаях, учебник выходит из затруднения, принимая нейтральную позу «объективного» исторического изложения.

VIII

От элементарного учебника истории, конечно, нельзя требовать ответа на спорные построения русского исторического процесса. Высказанные в учебнике оценки «царизма», «купцов и дворян», в общем, не выходят за пределы того, что считалось общими местами в либеральных кругах конца прошлого века. Отделы о революционном периоде, конечно, ставят более специальные, чисто советские требования. Большая часть четвертого тома (с. 140–331) «Истории» Покровского, написанная еще в 1912 г., но тогда не прошедшая через цензуру, явилась очень неполным ответом на эти требования. Обширная часть третья «Краткого очерка»¹⁶ его же останавливалась на 1906 г., т.е. далеко не доходила до переворота. Учебник Шестакова доводит рассказ до 1937 г., но он чересчур краток. Разбор всех этих частей потребовал бы особого подхода и не дал бы достаточного материала для суждения об общей схеме, которой посвящена эта статья.

«Событием огромного государственного значения» было бы, действительно, если бы учебник для высшей школы поступил так же радикально с приемами советской историографии, как поступил учебник Шестакова, вернувшись к педагогическим приемам времен учебников Иловайского. Но тут травля Покровского поставила сочинителя этого будущего учебника в очень трудное положение. Осуждение «ошибок» Покровского ведь было равносильно возвращению к Плеханову и Троцкому, а через них к Ключевскому и Милюкову, не говоря уже о дальнейшем возвращении к Соловьеву и Чичерину. Пришлось бы, таким образом, строить на основе лучших достижений «буржуазной» исторической науки — и признать слабость идеологии октябрьского переворота как раз в том, в чем большевики принуждены видеть его силу: в его внезапности и несоответствии действительному экономическому развитию России.

Если в своей беспорядочной тактике ликвидации собственного прошлого Сталин дойдет и до этого признания, то, конечно, это будет «событием огромного государственного значения». Но надеяться на такой исход в настоящее время было бы чересчур опрометчиво. Неизбежный вывод из этого — тот, что учебник русской истории для высшей школы или вовсе не будет написан, или будет написан... по Покровскому той поры, когда он еще стоял на плечах своих учителей.

Современные записки. 1937, № 65.

Вопросы истории. 1993, № 4.

